

Острова в океане

Наши соотечественники за рубежом долго считались у нас «отщепенцами». Теперь иная крайность — уехать и устроиться «там» считается в неблагополучной России едва ли не доблестью.

Человек уехал — и если общество здорово, оно не станет его осуждать и уж тем более ему завидовать. Хотя если общество здорово, его не стремятся покинуть. К нему стремятся примкнуть.

Русские, украинцы, армяне, евреи, миллионы когда-тошних москвичей, свердловчан, одесситов разбросаны по планете — как им там живется? Чем и зачем живется? Вспоминают ли о доме, тоскуют ли? И ласков ли к ним дом новый?

Сотни наших писателей, художников, музыкантов, режиссеров создают свое искусство за рубежом — и это по-прежнему русское искусство. Но мы о нем мало знаем. Сотни журналистов делают русскоязычную (слово кошмарное — а как сказать иначе?) прессу, русское радио и телевидение в Европе, Америке, Австралии — мы их не слышим и не читаем. Они тоже не слышат и не знают друг друга — живут на разных континентах.

И сколько умного проходит мимо!

А что, если собраться однажды в какой-нибудь московской кухне, как бывало? Теперь можно и не в кухне, можно в гостиной. В новой нарядной «Московской гостиной» нашей «Общей газеты», к примеру. И не однажды. Потому что невидимые нити духовного родства все равно продол-

жают скреплять планету русских (русскоязычных?) в некое метафизическое, уже почти надземное единство.

Мы начинаем новую страницу в газете и в ее истории. Когда-то «ОГ» объединила демократическую прессу России. Теперь мы хотим перекинуть мост через океаны, километры и мили между этими островами и архипелагами русской культуры. Чтобы нить невидимая стала осязаемой, чтобы слово, сказанное по-русски в Калифорнии, было услышано в Мельбурне, Берлине и уж тем более — Москве. Чтобы «русская идея» (берем слова в кавычки, сознавая условность термина) во всех ее проявлениях и со всеми ее местными акцентами свободно циркулировала по планете. Ведь газета, напоминаем, — «Общая»!

Наша программа достаточно обширна и амбиозна: содействие деловым и культурным связям, фестивали искусства русского зарубежья в России, специализированный туризм, организация своего рода московского центра русскоязычной диаспоры. Мы постараемся, чтобы она осуществилась. Будем рады любому сотрудничеству на этом пути. Идеям, советам, предложениям, реальному участию. Телефон и факс для связи — в выходных данных «ОГ», ведущий проекта — Валерий Кичин.

А начнем с начала: у нас в гостях крупнейшие русские газеты мира. Первая из них — лос-анджелесская «ПАНОРАМА». Материалы публикуются с незначительными сокращениями.

ОБРАЗ МЫСЛИ

Общая газ. - 1996. - 5 сент. - с 11.

Ираклий КВИРИКАДЗЕ

Один из лучших мастеров грузинского кино. Автор полузапретной в СССР картины «Пловец» и увенчанного призами «Городка Анара». Теперь живет в Калифорнии.

ГИПСОВАЯ ШЕЯ

РАННЕЙ зимой, вечером, в лос-анджелесской Тарзане, на вершине гор, в большом доме Бэлы собралось около восьмидесяти русских мужчин и женщин. На всех были наряды от лучших итальянских домов мод.

Пахло начищенным паркетом, кофе, сыром и смесью кухонных приправ. На кухне и в столовой гудел пчелиный рой голосов. Кроме Марка, Марины и меня, новоиспеченного калифорнийца, все сорокалетние и постарше мужчины и женщины представляли «третью эмигрантскую волну». Версаче, Армани, Валентино — это награды за трудный, в полтора-два десятилетия, путь с низов вверх по лестнице американского благополучия. Здесь, среди столов, уставленных французскими сырами, паштетами, бутылками английской и шведской водки, я вспомнил Феллини, и мне показалось, что восьмидесять человек, смеющихся, целующихся, стирающих со щек слезы малиновых помад, есть его, великого Сатрико, персонажи.

Но сразу сам себе возразил. Истории собравшихся на кухне и в столовой Бэлы адвокатов, врачей, страховых агентов, учителей балета, хозяев авторемонтных мастерских, торговцев кофе, металлом, детскими игрушками — это истории сизифовы, которые смогли поднять свои камни на вершины гор.

Вдруг я услышал свое имя: «А сейчас Ираклий Квирикадзе скажет три слова». Меня ведут в большую залу, по пути мне шепчут: «Ираклий, извини, ради Бога, нет микрофона, а Аркадий Хайт не может выступать без него. Займи аудиотрио минут пять, пока не принесут микрофон».

О чем говорить? «Расскажи о себе, — говорит Бэла, — кто ты?» Кто я? Эти люди уехали из России, когда мои фильмы стали обретать некую скандальную популярность, их показывали на закрытых, подпольных просмотрах. Рижский интеллект Андрес Розенберг смешно рассказывал, как он полз по водосточной трубе, а за ним полз милиционер, но не снял его с трубы, а по пасть на просмотр моего фильма «Пловец».

Леонид Ильич Брежнев, находясь в Пицунде, насладившись пятнистой форелью из горных грузинских рек, два часа терпел на экране мое антисоветское безобразие, а в конце прошептал: «Фильм сжечь». Кто-то из шестерок вождя хихикнул: «Может, вместе с автором?» «Да», — беззлобно подтвердил вождь и пошел доедать холодную форель. Где же этот чертов микрофон? Я неплохой рассказчик, но так, беспричинно, блаблабла, чтобы заполнить пятиминутную паузу... Я мямлил что-то о себе, о радости видеть вокруг таких вот восхитительных на вершины американской жизни и что, мол, найдется какая-нибудь и для меня еще не завоеванная вершина. Армани, Версаче, Валентино улыбаются, я продолжаю пороть чушь, а в голове пронесется замечательная история о кутаисском театре, в котором я провел детство, так как мой любимейший папа, Михаил

Квирикадзе, имел несчастье петь классические арии. Однажды папу ошастливили возможностью петь Ленского. В Кутаиси приехал Барбионов — баритон из Новосибирска. Огромный, курчавоволосый певец, его стали приглашать выступать на свадьбах, где ему платили бешеные деньги. У Барбионов образовался длинный список свадеб, так что «Евгений Онегин» был помехой в графике. Представьте лицо моего папы, когда в гримерной к нему подошел Барбионов-Онегин и сказал: «Дорогой Миша, зачем тебе эта тоскливая ария перед дуэлью? Такая длинная и ненужная!! А?»

Папа на каждом спектакле скупал билеты, рассылал их родственникам и знакомым, а этот заезжий Барбионов спрашивает, «зачем тебе ария перед дуэлью?»

— Сделаем так, — предложил Барбионов, — я выйду, застрелю тебя, этим мы сократим целых пятнадцать минут, поедем на свадьбу в Симонети — дочка директора марганцевого завода выходит замуж...

— Нет, — говорит папа.

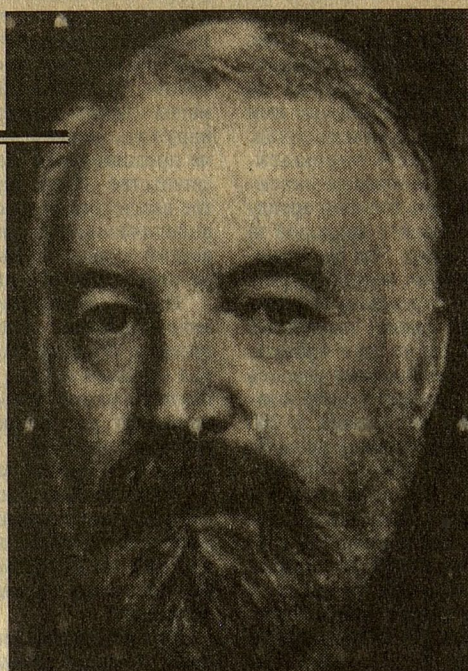
— Что значит «нет»? Не валяй дурака!

— Нет, нет, нет...

На сцену театра падал ватный снег. Папа стоял в цилиндре с пистолетом в руках. Папа начал петь: «Куда, куда вы удалились...» Вдруг из-за картонных кустов выбежал Онегин и в упор выстрелил в папу. Тот упал. Онегин удалился, но слышит голос Ленского: «Что день грядущий мне готовит?..» Ленский, лежа на полу и прижав руку к простреленной груди, пел. Онегин выстрелил в лежащего. Три выстрела для дуэльного пистолета многого, но как-то же надо заставить замолчать сумасшедшего Михаила Квирикадзе. Оркестр перестал играть, а Ленский все тянул лирическим тенором: «Его мой взор напрасно ловит». Разъяренный Барбионов подбежал к папе и, вставив пистолет в его поющий рот, выстрелил. Секунданта, которые все это время стояли в растерянности, очутились, схватили папу за ноги и поволокли его по сцене, как быка, убитого на корриде...

Найденный наконец микрофон позволил мне прекратить бессвязный поток ненужных слов. Хайт вынул из портфеля свои миниатюры. Я стал разглядывать лица слушающих. Эти полужакомые люди вызвали во мне не праздное любопытство. Напишу и продам три сценария, фантазировал я, и через два года меня ждут лимонные деревья в моем лос-анджелесском саду, голубомраморный бассейн, такая вот чистота кожи, здоровый перламутр зубов и все остальное по обширному прейскуранту «американской мечты». А может, драпнуть назад в Москву, в обсыпанный дустом Дом кино, в ресторан этого Дома, где скачут, стынют дорожке мне официантки, кормящие-поющие меня в долг: «Валя, впиши эти триста рублей к тем пятистам...», «К тем семистам, Ираклий?»

Мы выпили с Хайтом «коровую Мэри». Утром он уезжал в Москву, к сугробам. В последний раз я с Хайтом сидел на московской кухне Маши



Зверевой и Павла Чухрая четыре года назад. А сегодня мы на другом полушарии, на другой кухне. «Я объездил всю Америку, но такого дома, как ваш, Бэла, я не встречал», — сказал Хайт. Я повторил это эхом. Это действительно так. Десятки актеров, певцов, музыкантов, чтецов, которые потянулись в Америку из России, попадают в жесткие руки «новых» импресарио, и их, как пинг-понговые мячики, кидают по странному игровому площадке, синагогам, школам, домам для престарелых, ресторанам. Увы, такова действительность. Звезды русского искусства пролетают над американским государством, как невидимые в ночи гуси. Америка их не видит, не слышит, как заснувший в болотных сапогах охотник. Только ностальгические глаза, уши, губы «третьей волны» смотрят и шепчут: «Пугачева!» Каждый вспоминает свой город, свою танцплощадку. «Третья волна» покупает билеты за двадцать долларов и идет на встречу с прошлым в школу на Ферфаксе.

В толпе обнаружили еще недавно прибывшие. Он — профессор-лингвист, она — художница. «Ираклий, пригласите их погулять на Венис-Бич: покажите им всех ваших сумасшедших», — шепнула мне Бэла, — им так одиноко».

Сумасшедший Венис-Бич стал для меня центром Вселенной. Я плаваю в океане зимой, хожу по пустынным пляжам от пирса Санта-Моники до выхода яхт из бухты Марина-дель-Рей. Знаюсь с бродягами, дружу с уличным клоуном Дэвидом Аланом, который к концу своего выступления собирает доллары в картонный ящик, подходить с ним к моим окнам и зовет в китайский ресторан.

В кафе на Венис-Бич можно въехать прямо на велосипеде и, не слезая с него, выпить морковного сока. В кафе все пишут сценарии. Газетные сообщения, что некий Джозеф К. написал первый сценарий и получил за него полтора миллиона долларов, сводят с ума. «Вот за этим столиком сидел, такой толстый, похожий на корову», — говорят завистники. Я пишу эти строчки в кафе «Новелл», где вдоль стен стоят книжные стеллажи. Можно брать любую книгу, альбомы Кандинского, Хокуса, листать их, попивая кофе или чай. Сюда ходят поиграть в шахматы — сейчас вот двое, похожие на Максима Горького и Владимира Ильича Ленина в Сорренто, переставляют черные белые фигуры и говорят о Тибете. За соседним столиком обязательные влюбленные — уже час сидят неподвижно и смотрят в глаза друг другу.

Играет тихий роуль Оскара Питерсона. Такой тихий, что слышно, как бьются сердца влюбленных... В московском Доме кино происходило много хорошего, но самое главное — он давал уверенность: если тебе надо увидеть друга, ты брал такси, доезжал до Васильевской и находил его или в подвальном кафе, или в буфете второго этажа, или наверху в ресторане — с коптелой по-киевски или с мясом по-суворовски. Без шума, гама и канкана девочек-сороконожек... Так мы жили в Москве, Киеве, Омске, Ташкенте, Харь-

кове, Баку — у всех были свои любимые углы, свои кафе, рюмочные, хинкальные, чайнаны...

И дело вовсе не в ностальгии, но я повесил бы на стенах этого кафе моей мечты агитплакаты — сталеваров, доярок, красоток со сберкнижками в руках: «Накопил — на курорт укатил». Нелепая бутафория сталинско-хрущевско-брежневской эпохи, ставшей сегодня скелетом динозавра, радует мой глаз. И пусть никто не говорит, что я сталинист, хрущевист, брежневист. Жизнь — это копилка образов.

В моем тбилисском доме этим летом, горячим и злым, я обнаружил трехлитровую стеклянную клизму и стал хохотать. Я выбрасывал хлам, но клизму оставил. Мой дядя лечил его геморрой и прочие кишечные болезни. В коридоре всегда сидели больные с печальными лицами на прием к Славе Квирикадзе. Папин брат — маленький, чистый, фарфоровый — не очень любил нас, детей. Однажды за нас ему отомстил двухметровый гигант винодел из Кахетии. Винодел не знал ни слова по-русски, а у доктора Славы ассистентка была полька, которая не знала грузинского. До встречи с доктором винодел должен был прочистить кишечник, полька ему всадила клизму, которую он видел впервые в жизни. «Потом сядете на стул, — полька имела в виду унитаз, — прочистите кишечник и дождетесь доктора, он вас осмотрит». Из всей тирады винодел понял «потом сядете на стул». Когда в него влились три литра, он встал с дивана и сел на стул. Доктор Слава не шел. Винодел позвизгивал от мучений, но терпел. Раза два входила полька: «Прочистили?» Винодел кивал головой. Наконец появился фарфорово-чистенький доктор Слава, велел ему спустить штаны, вложил в задний проход трубку с микролампочкой и, вооружившись окуляром, пригнул двухметрового кахетинца. Что случилось потом, я не знаю, но я видел пробог по коридору винодела с трубкой в зад и залитого с головы до ног доктором Славу. Слышал его мат. Я не выкинул эту трехлитровую посудину: уж очень она была приметной деталью моего детства.

Существует какая-то необъяснимая потребность возвращаться в привычные образы юности.

...Давно уехал Хайт: рано устроил ему в аэропорт. Гости разошлись. В доме Бэлы остались чем-то расстроенная девушка-адвокат, супружеская пара, с которой я провел веселый праздник Халлоуин, и усталые хозяева. Кухня и столовая напоминали Гернику и Хиросиму вместе. Мы примостились к краю огромного стола, вспоминали хайтовские острооты. Мне хотелось сказать: «Бэла, ты вечный Дед Мороз! Новогоднюю елку ты устраиваешь в марте, августе, октябре... Приезжает человек, ты зовешь его на елку, он сплет, станцует, скажет стишок, ты снимаешь с елки подарок, и он уходит счастливый...»

Бэла не Дед Мороз. Она жена бизнесмена, которая архаично, по-русски культивирует такие встречи в кругу своих многочисленных друзей.

Когда поздние гости наконец сообразили, что пора встать из-за стола, Бэла стала одаривать всем тем, что называется «остатки сладки». Мне достались яблочный пирог и бутылка английской водки.

Я ехал по 405-му фривею, Лос-Анджелес спал. Я смотрел на белый пакет, в котором булькало зелье, и думал: «В этой замечательной стране, где ты чувствуешь себя так одиноко, где каждый день для тебя и праздник, и пытка, как хорошо знать, что есть женщина Дед Мороз».

R.S. Не знаю, интересно ли будет знать читателю, что мой папа никак не мог успокоиться после того, как его постыдно пристрелил на сцене заезжий баритон Барбионов. Папа вызвал обидчика на дуэль. Тот принял вызов. Спросил:

— Чем будем стреляться?

— Чем угодно, хоть этими кирпичами! — указал папа на груды кирпичей во дворе театра. Барбионов согласился. Отмерив расстояние, два певца в присутствии труппы стали метать кирпичи. Барбионов оказался более метким, и месяца два Ленский пел свою партию с гипсовой шеей.

Мне захотелось назвать этот полурассказ-полухронику «Гипсовая шея», так как мы, прибывшие «оттуда», ходим по Америке словно загипсованные. Тяжело двигаемся, тяжело крутим шеей. Наши дети уже без этих ненужностей. А внуки — легкие, как стрекоты: — What's up man?!